

Яна Вагнер

# ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Роман

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство  
АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
В12

Художник *Владимир Мачинский*

Издательство благодарит литературное агентство  
«Banke, Goumen & Smirnova»  
за содействие в приобретении прав

**Вагнер, Яна Михайловна.**

В12 Живые люди : роман / Яна Вагнер. — Москва :  
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной,  
2021. — 410, [6] с. — (Яна Вагнер: история одной  
компании).

ISBN 978-5-17-135570-8

«Живые люди» — продолжение бестселлера «Вонгозеро», роман-робинзоида, герметический триллер. Одиннадцать человек — восемь взрослых и трое детей — спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое главное — учиться принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой: измениться или погибнуть.

«Эпидемия» — экранизация первого романа дилогии «Вонгозеро».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-135570-8

© Вагнер Я.М.  
© ООО «Издательство АСТ»

**Я** все пытаюсь представить себе, что она чувствовала, запертая вместе с сыном в собственной квартире, отгородившись от хаоса и смерти тонкой дверью с двумя финскими замками. Две недели. Две недели мучительных сомнений — выйти или остаться? Включать свет или сидеть в темноте? Наблюдать, как тает жалкая кучка консервов, полученных в тот последний раз, когда она решилась выйти из дома, на следующий день после того, как приходила Лиза (которая села на пол возле двери — снаружи, прямо на лестнице, и даже не просила впустить ее, а просто сидела, долго, несколько часов). Слушая из-за двери Лизино тяжелое прерывистое дыхание, она могла думать только об одном: чтобы Лиза поскорее ушла, потому что ранним утром придет продовольственный грузовик и дверь придется открыть.

Взять мальчика с собой всякий раз казалось страшнее, чем оставить его дома одного, и в это последнее утро она пошла с соседкой, потому что вместе было все-таки безопаснее, хотя какая там безопасность — две женщины. Раньше с ними ходил Юра с десятого этажа, но сегодня Юра не открыл им, когда они звонили в его дверь. На самом деле, он даже не подошел к двери. В объяснениях не было нужды; слышно было, как он, захлебываясь, кашляет где-то в недрах своей квартиры, и они поспешно повернулись и побежали вниз по лестнице. Соседка сказала только: «Вот и Юрка...» — и блеснула темными глазами поверх плотной марлевой повязки, и больше они уже об этом не говорили; они вообще очень мало теперь разговаривали, и не только из-за повязок, просто все, что они могли сказать друг другу, было и так понятно и не нуждалось в том, чтобы быть произнесенным вслух.

Они бежали по стыллой улице, временами увязая по щиколотки в рыхлом грязном снегу, — чистить улицы теперь было бы непозволительной роскошью, — и она думала: «Сорок минут, максимум — час, очередь с каждым днем становится все меньше и меньше, ничего не случится; он не станет включать воду, не станет копать в розетке, и даже если кто-нибудь — кто угодно — позвонит в дверь, он не откроет, потому что не может дотянуться до верхнего замка, он в безопасности». Они бежали, и уже видна была в конце улицы грузовая машина с грубо нарисованным красным

## ЖИВЫЕ ЛЮДИ

крестом, и жидкая разрозненная толпа людей вокруг, которую она привычно попыталась оценить: да, минут сорок, если только какая-нибудь старуха (почему-то это всегда именно старухи и никогда старики) не задержит очередь, потому что забыла или потеряла талон, и тогда возникнет жалкий, визгливый, недолгий скандал, из-за которого домой удастся вернуться только через час, не раньше. Бежать теперь стало легче — по снегу, утоптанному и плотному, как асфальт, потому что с утра (а машина приезжала рано утром, еще затемно) здесь перебивали все, кто мог еще выйти на улицу, и их по-прежнему набиралось достаточно, в то время как во дворах уже было не разойтись из-за неряшливых сугробов с узкими, на одного человека, протоптанными тропинками. Попадались даже целые подъезды — она отметила несколько на бегу, — вокруг которых снег был нетронутый и чистый, без единого следа. Уже возле самой машины, нащупывая в кармане твердый картонный прямоугольник продовольственного талона, стараясь встать поближе к хмурому контролеру в черном армейском респираторе, выбрасывающему прямо из кузова серые одинаковые коробки и время от времени монотонно и невнятно повторяющему одну и ту же фразу: «По одному. По одному, я сказал. На шаг отойдите. Отойдите, женщина», — и в то же время не столкнуться ни с кем из прочих столпившихся возле грузовика людей, не скользнуть рукавом или полкой пальто, она вдруг подумала: «Он не

сможет открыть дверь. Если что-нибудь случится прямо сейчас, на обратном пути, когда мы понесем эти чертовы коробки, которые никуда не спрятать, которые словно кричат: смотрите, у меня есть еда, а с нами теперь нет Юры (можно считать, что Юры вообще больше нет). Если что-нибудь случится со мной. Если я не вернусь — он не сможет открыть дверь. И никто не придет к нему». Эта мысль заставила ее бежать назад еще быстрее, несмотря на тяжелую, неудобную коробку, которую ей нужно было нести, и соседка, с такой же коробкой наперевес, едва поспевала за ней.

Она ворвалась домой, сняла пальто и в который раз подавила острое, непреодолимое желание выбросить его наружу, за дверь, чтобы ни одна молекула чужого, опасного внешнего воздуха не осталась здесь, внутри, в их единственном убежище, а потом, крикнув в комнату: «Я сейчас, не выходи!», долго и тщательно мыла руки и лицо, терла толстый, уже махрящийся по краям марлевый прямоугольник хозяйственным мылом и думала: «Боже мой, как хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду», — и лишь после этого подошла к мальчику, понюхала его макушку и сказала: «Видишь, я недолго. Проголодался?» Он сидел на полу, над стопкой журналов, и даже не поднял к ней лицо, просто помотал головой — нет, я занят, потом.

Больше она не выходила. В конце недели соседка стучалась к ней и кричала: «Ирочка! Ири-

ша! Вы как там?» — но она даже не смогла себя заставить подойти к двери и объяснить, почему больше не может выйти наружу. Просто не может снова идти туда, а потом возвращаться, принося на себе невидимую липкую заразу, от которой нельзя избавиться и нельзя спастись, поэтому все время, пока соседка стучала и звала ее, она безучастно сидела на диване, а потом посмотрела на удивленного мальчика, приложила палец к губам и постаралась улыбнуться ему: тише, это такая игра, как будто мы спрятались и нас нет. Такое молчание из-за двери можно было в эти дни истолковать одним-единственным способом, и соседка, вероятно, сделала именно этот вывод, потому что слышно было, как она говорит невнятно: «Боже мой, боже мой», и ее торопливые удаляющиеся шаги на лестнице.

Из коробки, которую она принесла домой в тот, последний день, к концу первой недели не осталось почти ничего — початая пачка гречки, несколько банок консервированной говядины и банка сладкой кукурузы. К счастью, мальчик никогда не отличался особенным аппетитом, и она подсчитала, что ему хватит еще дня на четыре, если сама она перестанет есть совсем. В кухонном шкафу обнаружили пересохшие и безвкусные, как бумага, ломкие диетические сухарики, и еще мука, почти полный пакет. Она очень рассчитывала на эту муку, из которой получались бледные, выцветшие тонкие лепешки. «Четыре дня, — сказала она себе. — У меня есть еще четыре

дня, и только потом, если ничего не изменится, только потом я подумаю, что делать дальше».

Сереза звонил каждый день, утром и вечером, и все время спрашивал: «Как вы? Вы осторожны? Что вы едите?» — и она боялась признаться ему, что пропустила уже одну выдачу продуктов и намерена пропустить следующую, потому что он наверняка убедил бы ее в том, что она совершает ошибку, а она знала, точно знала, что права и выходить нельзя, и нельзя открывать дверь. Потому что в понедельник она все утро караулила возле дверного глазка, машинально задерживая дыхание, словно самый воздух, проникающий сквозь кожаную обивку, мог представлять угрозу, и не увидела никого, ни одного человека, хотя это был день, когда приезжала продуктовая машина. Лестница оставалась пустой. Она не заметила даже соседки, которая стучалась в дверь несколько дней назад. Серезе было бессмысленно рассказывать об этом. Он все равно ничего не понял бы, не смог бы представить себе все это оттуда, снаружи, из-за карантина. Она старалась отвечать односложно и, наконец, попросила его звонить только раз в день, вечером, и говорить недолго, несколько секунд, потому что не знала, как долго еще проработает телефон; ей почему-то казалось, что с каждым звонком уменьшается и тает какой-то неведомый ресурс, подпитывающий существование гудка в трубке. Он говорил: «Я ездил сегодня, меня опять не пустили, Ирка, но ты не волнуйся, надо просто потерпеть,



я что-нибудь придумаю, вы, главное, будьте осторожны». И она думала: «О, мы осторожны, мы чертовски осторожны, только у нас осталась последняя банка говядины и немного муки, а на площадке перед подъездом, которую немного видно из кухонного окна, уже несколько дней нет никаких следов», — но не говорила ему, потому что и эти звонки, напоминавшие ей о том, что прошел еще один день, и Сережин встревоженный голос в трубке были сейчас бессмысленны и только раздражали ее.

В ночь со среды на четверг телефон умер. Она не узнала бы об этом, если бы не отсутствие ежедневного Сережиного звонка. Сняв трубку около полуночи, она услышала только плотную, без потрескиваний, тишину и в эту ночь уже так и не смогла заснуть, хотя даже без этой несвоевременной телефонной смерти не заснула бы все равно, потому что именно сегодня у них, наконец, закончилась еда. Уже после того, как Антошка доел свою порцию, она неожиданно поймала себя на том, что бездумно и жадно слизывает остатки мясного желе с зазубренных стенок металлической банки, и почувствовала во рту вкус собственной крови, и тогда ей стало ясно, что отсрочка, которую она себе выторговала, только что закончилась. Всю эту ночь она просидела возле включенного телевизора; она теперь вообще не выключала телевизор, хотя уже неделю он показывал только четыре идущие в записи передачи, по кругу, в одном и том же порядке, который она

выучила наизусть: эффективные меры предосторожности в период эпидемии, обращение главного санитарного врача, списки пунктов экстренной помощи. Вот сейчас, после слов «сохраняйте спокойствие, оставайтесь на своих местах» гладко причесанная диктор запнется и еще раз посмотрит на лежащую перед ней страницу — так и есть, это та же самая передача. Их, возможно, уже нет — ни этого врача, ни этого диктора, но кто-то же должен следить за тем, как это все выходит в эфир, это ведь не может происходить автоматически, само по себе, кто-то должен оставаться в огромной, похожей на толстый каменный карандаш телебашне, которая тускло мерцает электрическими огнями на фоне темного неба. Может быть, рано или поздно кто-нибудь все же прервет этот бесконечный закольцованный порядок и сообщит что-то другое, что угодно, лишь бы это помогло ей разобраться в происходящем там, за дверью, в огромном городе, и подсказало бы, что же ей нужно делать.

Под утро она села на широкий пластиковый подоконник и, прижавшись щекой к холодному стеклу, стала смотреть на улицу. Из окна был виден совсем небольшой отрезок, остальное загромождал соседний дом, высокие деревья рядом с ним и плоский рекламный щит с неуместной теперь рекламой коркуновского шоколада, но она была уверена, что не пропустит продовольственный грузовик, который скоро должен проехать здесь, потому что кроме этого грузовика по

улице давно уже никто не ездил. Она ждала несколько часов, до самого рассвета, а когда проснулся мальчик и позвал ее, поняла, что грузовик не приедет; что, возможно, он не приезжал и в понедельник, просто ей не пришло в голову это проверить, и невольно почувствовала даже что-то похожее на облегчение от мысли, что выходить не придется, потому что теперь незачем.

Именно тогда она нашла варенье. Банка была небольшая, полторалитровая, с рыжими разводами ржавчины на туго прикрученной крышке, которую она долго не могла отвинтить и уже начала прикидывать, как бы поаккуратнее разбить банку, чтобы осталось как можно меньше осколков, но крышка неожиданно поддалась, брызнув в стороны сахарной колючей пылью. Варенье было старое, почти черное и чудовищно приторно-сладкое. Она попыталась выложить его на тарелку как-нибудь покрасивее, чтобы порадовать мальчика, и в конце концов у нее получилась комковатая веселая рожица — два глаза, улыбающийся рот. Столько сахара, думала она, нам хватит еще на несколько дней, если мы будем есть по четыре чайных ложки утром, днем и вечером, хорошо, что есть вода, только бы они не отключили воду.

Всякий раз, пытаясь представить, что она чувствовала, спрятавшись с мальчиком за тонкой дверью с хлипкими замками, я возвращаюсь мыслями именно к этому дню, к этому утру, когда она считала, сколько ложек варенья может позволить

себе съесть. О чем она думала, выскребая из банки твердую, неподатливую черную массу? Пришло ли ей в голову, что, если бы не ребенок, она вышла бы гораздо раньше и, возможно, застала бы грузовик? Что даже теперь, когда грузовик можно уже не ждать, она все равно, наверное, вышла бы, но мальчику только пять, он не может долго ходить и быстро устает, и в теплом зимнем комбинезоне он ужасно неповоротливый. Они не сумели бы убежать, если бы кто-то на улице, кто-то больной, опасный, попытался остановить их, ни за что не сумели бы. Боялась ли она того, что, возможно, все-таки пропустила момент, когда всех остальных забрали, спасли, увезли куда-то в безопасное место, или проспала какое-нибудь короткое сообщение по телевизору, что-нибудь об эвакуации или о вакцине? Не казалось ли ей, что они двое, она и мальчик, — последние, кто остался здесь? Последние, кто остался вообще. Потому что теперь, когда телефон молчал, а в окне виднелся только безлюдный кусок улицы, присыпанной рыхлым неутоптанным снегом, было так легко представить себе, что и Сережи, который обещал приехать и забрать их сразу же, как только можно будет прорваться через кордоны, тоже больше нет.

Она очень мало говорила об этих двух последних днях, начавшихся с банки старого варенья и закончившихся тем, что посреди ночи Сережа вдруг позвонил в дверь, потому что патрули, охранявшие город, разбежались, и он смог наконец

добраться. Я знаю только, что она открыла ему не сразу и сначала долго смотрела на него в глазок, пытаясь определить, не болен ли он (ведь Лиза точно была больна и именно по этой причине не просила открыть ей, а просто сидела под дверью и дышала, пока наконец не поднялась, держась за стену, и не начала медленно спускаться вниз, останавливаясь на каждом пролете лестницы). И несмотря на то что Сережа был здоров, потому что за пределами карантина ничего еще не успело произойти, там все только начиналось, — все, что так быстро, в считанные недели погубило громадный тринадцатимиллионный город, — прежде чем открыть дверь, она надела маску себе и Антону, и Сереже удалось уговорить ее снять эти маски лишь спустя два часа, когда после стремительных лихорадочных сборов — «Некогда, Ирка, брось, у нас все есть, найдем мы тебе и одежду, и обувь, сейчас они перегородят все заново, и мы тогда точно не выберемся» — они уже ехали по пустынной неосвященной трассе, оставив далеко позади и мертвый город, и взбаламученные, истерически бурлящие коттеджные поселки, осознавшие, что кордонов больше нет и теперь их некому защитить.

Больше я не знаю ничего. Она вообще рассказала очень немного, несмотря на то что, как только на улице темнеет и единственным источником света в доме становится тускло-оранжевая прямоугольная щель вокруг закопченной печной дверцы, нам не остается ничего, кроме разговоров.

У нас еще осталось немного керосина, но мы бережем его для особо торжественных случаев, и поэтому все вечера, все без исключения, проходят одинаково: света слишком мало даже для того, чтобы чистить рыбу или чинить вещи, так что мы просто сидим в рыжем полумраке — восемь взрослых, трое детей — и разговариваем. Конечно, мы могли бы рассказывать о чем угодно, у каждого из нас за плечами целая жизнь, полная самых разных событий, только мы всегда говорим об одном и том же: о тех последних неделях перед самым концом. О том, какими мы были беспечными идиотами. О том, как мы ничего не поняли. О том, как мы опоздали и никого не успели спасти, и едва спаслись сами. Если, конечно, это вообще можно назвать спасением.

За последние месяцы мы обсудили все это столько раз, что я уже выучила все истории наизусть и в мельчайших подробностях могу представить себе каждый день любого из них, остальных. Каждый день из этих нескольких недель, когда стало ясно, что ничего уже не исправить. Но единственное, о чем я никак не могу перестать думать, — это те последние два дня, в течение которых она отсчитывала ложки с вареньем: одна, две, три, четыре... Я представляю теперешнего Мишку, — большого, с незнакомым взрослым выражением на узком лице, — пятилетним и пытаюсь понять, готова ли я была бы запереться и не выходить совсем, ни при каких обстоятельствах. Не открыть дверь сестре, не выйти

## ЖИВЫЕ ЛЮДИ

к продовольственному грузовику. Просто повернуться спиной ко всему этому кошмару, творящемуся снаружи, и сделать вид, что там, за дверью, ничего нет, и осталась только эта маленькая квартира и банка засахарившейся смородины. И ведь она не ошиблась. Ей действительно не нужно, ей нельзя было выходить, потому что, возможно, только по этой причине и она, и мальчик сейчас здесь, с нами.

Бывшая жена моего мужа и его единственный сын.

И я не могу перестать думать еще об одном. Знаю, что это плохо, это правда очень плохо, и я ни за что никому не призналась бы, что думаю об этом, но все равно не могу перестать. Что было бы, если бы она все-таки сделала это? Если бы вышла наружу. До того, как приехал Сережа.

\* \* \*

Я часто пытаюсь представить себе город — не тот, каким я его знала до катастрофы, а сегодняшний — опустевший и мертвый. Меня не было там, когда все началось, а чужие рассказы и обрывки телевизионных репортажей почему-то так и не захотели соединиться в моем воображении с тем, что я помнила о нем сама. Даже если бы я попробовала наложить все, что мы увидели позже, в попавшихся нам на пути городах, на знакомые с детства улицы, — безмолвные и равнодушные вер-